

Я хотел написать какие-то связные воспоминания, свести свои впечатления за двадцать с лишним лет в более-менее стройную систему – и ничего не получилось. Потому что он был абсолютно бессистемным человеком...

При первой встрече он не поражал. Скорее разочаровывал. Ну что это, в самом деле: один из самых известных советских драматургов (конечно, не такой острый, как Арбузов, не такой талантливый, как Вампилов, - считали мы), один из самых богатых людей искусства, а на вид – то ли бухгалтер на пенсии, то ли вообще – дворовый старичок, вставший из-за доминошного стола.

Он и был уютным маленьким домашним старичком (хотя в 1977-

м, когда я поступил в семинар Розова и Вишневской в Литературном институте, ему было всего-то 64 года!). На гения он явно не тянул: ведь у гения должны быть горящие глаза, он должен давать людям идеи, вести за собой на подвиг и на смерть. А Розов никогда не был ни вождем, ни героем, ни на какой подвиг (а уж тем более – на смерть!) никого не звал и не вел.

Но, во всяком случае, он должен был открыть нам какие-то тайны творчества, приобщить к высокому искусству драматурга (а те из нас, кто читал аристотелевскую «Поэтику», отлично знали, что драма есть высший род литературы, а драматург – самое редкое литературное дарование!). Но он и этого не делал. Мало того: он, руководитель семинара драмы, вообще не учил нас писать пьесы.

Точнее – никогда не давал никакой технологии их создания. Все его формулы драматургии были вполне и окончательно бесформенными. Судите сами: «Вот месишь, месишь тесто – а в результате получится буханка хлеба»... Или: «Вот пахтаешь, пахтаешь молоко – и в какой-то момент может получиться кусок масла»... Или вообще: «Когда пишу, вдруг понимаю, что напрочь забыл про этого героя – и тогда быстренько даю ему какие-нибудь слова»... Представьте себе, что вы учитесь писать пьесы по таким вот советам – много напишете?

Позже я понял, что о точных технологиях он и сам-то не слишком задумывался. Он, насквозь, до печенок театральный человек (актер, режиссер, драматург), имел такой опыт существования в театре, что просто

не нуждался в теории. И не мог предположить, что кто-то из нас не знает чего-то из того, что знает он. Поэтому технологии драмы пришлось учиться (не всем, разумеется, а тем из нас, кто этого хотел) самостоятельно и уже после окончания института. И в этом смысле одна книжечка Волькенштейна «Драматургия» дала мне гораздо больше, чем все семинары Розова. Но только в э т о м смысле.

Потому что на семинарах Розова и Вишневской мы получали нечто иное – с в о б о д у. Полная это была свобода или относительная (а если относительная, то относительно чего?) – сейчас судить не берусь. Во всяком случае, мы могли говорить о том, о чем в то время говорилось только на кухнях. Слушали рассказы Розова и Вишневской о

Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Риме (а они бывали «за бугром» достаточно часто), о спектаклях и фильмах, которые они там видели, а мы здесь видеть не могли. В конце семидесятых, когда советская идеология потеряла всякий творческий импульс и попросту выродилась, эти рассказы, конечно, сильно расширяли наш кругозор, давали человеческую перспективу.

Но очень скоро мы начали читать литературу. То есть – самиздат. Русские философы, религиозные мыслители, ну и конечно – главный вождь, гений и пророк, великий антисоветчик. После прочтения первого тома «Архипелага» я месяца два или три не мог писать – таким тяжким было потрясение от узнавания и н о й истории...

Понятно, что на фоне такой литературы творчество Виктора Розова и вовсе бледнело, почти растворялось. Эти люди бились, звали, вели. А он выпустил книгу воспоминаний, которая называлась «Путешествие в разные стороны». И читал нам вслух главу о «Наденьке» (жене Надежде Варфоломеевне) и о том, что встреча с ней стала «самым главным счастьем всей его жизни»... Ну разве стал бы говорить о таких чисто личных и сентиментальных вещах вождь и пророк?!

Он не любил революций, не любил потрясений. Как-то раз высказал, видимо, свою заветную мысль о том, что задача писателя – раз за разом, постепенно, хотя бы на один шаг «расширять пространство свободы». Красиво, но ведь и эта

формула, как все его формулы, опять была вполне бесформенной. В самом деле, попробуй, рассчитай, где, на какой черте остановилась сегодня свобода и в чем будет заключаться этот твой «один шаг» в сторону будущей воли! И вправду ведь: у эволюционеров столько же нелогичностей и несостыковок, как и у революционеров. И эволюция – это, в сущности, такая же слепая вера, как и революция.

Поэтому сказать, что я уважал его идеи, взгляды, восхищался принципами – было бы большой натяжкой. Любить я его, конечно, любил. Да и за что было его не любить, если он был человеком добрым, порядочным, честным, если он любил нас, своих студентов? Правда, сказать, что кого-то из нас он по-человечески особенно опекал – тоже вряд ли

возможно. За своими бывшими «семинаристами» следил, конечно, но оценивал их тоже как-то странновато. Помню, говорил об одном из бывших студентов и выразился так: «У него потерян рефлекс цели».

Мне эта фраза врезалась в сознание, но сначала я долго не мог понять, что меня в ней так раздражает. Потом понял. Ведь можно же было сказать: «У него потеряна цель»! При чем тут рефлексы? Разве мы – собаки Павлова?.. К чему это специальное усложнение простых и ясных вещей, зачем это философское «отражение отражения»?..

Поэтому понятно, что на последних курсах я время от времени позволял себе пропускать его семинары. Не тянуло.

Потом началась личная и семейная жизнь; потом – церковная...

Окончен Литинститут, пройдена аспирантура; далеко в прошлом остался мой первый спектакль «НЛО» в «Современнике».

Мы встречались редко. И хотя теплые отношения оставались всегда, особой нужды в общении вроде бы и не было.

* * *

...Но вот грянула та свобода, о которой мы все (все же будем справедливыми – почти все) так мечтали. Подкрался тихой сапой 1993 год. Наступило роковое 4 октября. И произошло Чудо.

Во время ельцинского расстрела Парламента к Виктору Сергеевичу в прямом эфире обратилась какая-то дурища-корреспондентка с

какого-то центрального радио. Вопрос ее был типа: «А как вы, Виктор Сергеевич, относитесь к сегодняшним событиям?» И слова, которые прозвучали в ответ, обожгли своей правдой, своим мужеством не только Россию, но и остальной мир: «Это безобразие! Это преступление перед собственным народом!»

Корреспондентка потеряла дар речи. Думаю, дар речи в тот момент потеряла не только она. И думаю, не одна голова слетела в тот день за этот прямой эфир. Потому что эфир оказался и вправду п р я м ы м...

И может быть, стало хоть чуть-чуть стыдно от его слов той «художественной элите», которая за несколько дней до расстрела кричала любимому вождю на специально собранном собрании:

«Распни, распни его!» А точнее:
«Борис Николаевич! Подавите
мятежников!» А может, и не стало
стыдно, - во всяком случае, никто
из этого «цвета нации» никогда не
каялся в том, что сделал тогда.

И уж, конечно, не стало стыдно
нашему великому гению и пророку,
который за неделю до расстрела
советовал дорогому Борису
Николаевичу из своего «далека»
быть твердым и не идти ни на какие
компромиссы. Потому что пророкам
(не тем, библейским, а нашим
сегодняшним), похоже, вообще
никогда и ни за что не становится
стыдно.

Но зато все те, в ком не умерла до
конца совесть, в ком еще живо было
чувство правды, услышали в тот
день то единственное слово,
которое только и могло их

поддержать в тогдашнем духовном беспределе. Слово Правды. И это слово сказал драматург Виктор Розов. Мой учитель.

Да, именно с этого дня я начал гордиться тем, что был его учеником. И горжусь до сих пор. И буду гордиться уже всегда, до конца. Потому что уже ничто не сможет измениться в его человеческой судьбе.

И хотя гордость – не очень-то христианское чувство, но ведь я не собой горжусь, а им. Моим Учителем. Человеком, который в самый тяжкий, в самый нужный момент сказал всему своему многострадальному народу самое необходимое Слово. Сказал, потому что был к этому готов. А самое главное – был этого достоин.

Получается, что именно с Розовым связана одна из самых удивительных метаморфоз в моей жизни. Когда маленький человек вдруг превратился в большого (а может, и великого – кто знает?). А большой, даже великий и гениальный, вдруг обнажил свою маленькую серенькую сущность...

И метаморфоза эта удивительна, как вообще удивительна жизнь. Но далеко не всегда жизнь удивительна так явно и так ярко. Ведь надо еще, чтобы и герой был ровень с ней...

В один из моих последних визитов к нему домой, когда они с Надеждой Варфоломеевной уже жили в двухкомнатной квартире, отдав свою большую детям, я сидел возле

его кровати. Он в то время уже сильно болел, то ложился в хоспис, то выходил из него. Но я разговаривал с ним и поражался ясности ума и твердой памяти. И вдруг в какой-то момент он задумался и грустно сказал: «Я всё понимаю, Володя, только одно не могу понять: где я сейчас? Почему в окне совсем не тот вид, который должен быть? Куда всё подевалось?..»

Надежда Варфоломеевна, стоявшая рядом, грустно улыбнулась мне: «Никак не может понять, что мы переехали. Всё помнит, а это забыл...»

Кто знает, может, и так. А может, он просто нутром ощущал, что мир, который он привык видеть – ушел. И время, в котором он привык жить – кончилось. Е г о время. Время, в

котором он до конца исполнил свой человеческий долг.

* * *

...Спустя год или два после его смерти он приснился мне во сне. Мы встретились на ступенях какой-то широкой солнечной лестницы. Кто-то из нас поднимался по ней, кто-то спускался – не помню. Я очень обрадовался встрече, но сразу задал классический вопрос всякого верующего человека: «Виктор Сергеевич, ну как вам т а м?» Он как-то задумался, замешкался с ответом. Тогда я продолжил: «Я понимаю, за вас, наверное, надо молиться?» Он ответил серьезно: «Молитесь, Володя».

Каюсь, молюсь редко. Но вот хоть сейчас:

- Господи! Упокой душу раба Твоего
Виктора!
Розова.
Моего любимого Учителя.